

Вячеслав Тюрин

На чёртовом колесе



Вячеслав Тюрин

НА ЧЁРТОВОМ КОЛЕСЕ



2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6
Т98
ISBN 978-5-91344-945-0



В. Тюрин «На чёртовом колесе» – Иркутск, 2015 г.,
Иркутское региональное представительство СРП.

Книга издана при поддержке Союза российских
писателей, на грант Министерства культуры РФ.

© В. Тюрин
© К. Налётов
© С. Михеева

От составителя

Поэтическому языку подобной плотности не нужен конферанс, ему не нужна рука, которая приоткрывала бы занавес, обнажая сцену. Любые пояснения она отторгает самой своей структурой как хирургическое и преждевременное вмешательство. Здесь язык проживает ситуацию, а не излагает её. Его продукт – это автор, который материализуется в действительном мире только с помощью поэзии.

Здесь, по существу, почти ничего нет от Бродского, хоть на первый взгляд и похоже – длинноты, продолжительные описания. Ничего, поскольку у автора есть задача: из человека-невидимки стать явным для нас. Это катастрофическое отсутствие игры при обострённом желании быть видимым, замеченным – читай: любимым, принятым, впущенным. Катастрофическое, поскольку даже и сам лирический герой опустил уже руки и без волнения, с отстраненным любопытством начинает:

Интересно, колышет
ли кого-нибудь то,
чем здесь изредка дышит
как бы призрак в пальто?

Поэзия, стучающаяся в любую дверь, нуждающаяся в теплоте – сам человек, призрак в пальто. Среди богатых литературных россыпей сегодняшнего дня мало найдётся авторов, так безоглядно понадеявшихся на читательское расположение, так просто отдавшихся на растерзание времени – ибо сегодняшнее поэтическое слово всё ещё, в большей своей части, игра с огнём, игра с собой, игра по старым правилам, в которых учтено всё – и наивность давным-давно истлевших греков, и чудеса романтики, обрамлённые голубыми цветками, и фокусы постмодерна. Придётся даже бить себя по рукам – настолько по отношению к этой книге неуместно определение «лирический герой», формальная выдумка не годная для поэзии вообще, и для этой – в частности и особенно. Силу воображения давайте назовём лирическим героем, как действующее и побеждающее начало. С этой силой, вооружённый ею, читатель для поэта – собеседник, но пока что молчащий. Предполагается, что собеседник должен уловить авторский голос в шуме или тишине, предполагается, что пока он не хочет этого сделать или же не может по объективным причинам – существует вероятность того, что их языки разнятся до степени взаимного непонимания. Автор на какое-то мгновение уверен в этом:

«Я вас люблю,

но не знаю, как вас за это благодарить.

На одном языке, что ли, с вами заговорить...»

И всё же старый как мир вопрос взаимного непонимания решается в его метафизическом смысле началом этих строк – благодарность к слушающему за возможность испытывать любовь. В смысле бытовом он вряд ли вообще разрешим: именно «чёртово колесо» жизни, в которой люди «заняты чем попало», но только не важными вопросами бытия, вынуждает поэта выходить к ним, просить или провозглашать. Объясняться и ждать ответа.

Светлана Михеева

Равновесие комнат, похожих на сон дурной,
нарушает судьба человека, точнее сказать ходьба
покачивающегося маятника длиной
без пяти вершков три аршина, чья худоба
соответствует обстановке, сводя к нулю
шансы выбиться к людям, сказать им: «Я вас люблю,
но не знаю, как вас за это благодарить.
На одном языке, что ли, с вами заговорить,
будто не было вавилонского колдовства,
перепутавшего слова».

Позабить отражение в зеркале, завести
пучеглазую погремушку на без пяти.

Насидевшись у телевизора, лягу на
полосатый матрац. И чтобы вы за лгуна
не держали меня, то вот вам моя рука
сухопутного моряка.

Глина башни забыла слепок творящих рук,
и в бойницах застыл испуг
перед медленным наступлением темноты
на дворы с блуждающим эхом, когда менты
патрулируют изгороди трущоб,
обрубая хвосты шелудивым псам.
Я советую брать темноту в расчёт
полуночникам, ибо сам
раньше плавал от фонаря к фонарю,
а теперь синим пламенем исповеди горю.

СТОРОЖ

Страх есть увеличительное стекло
сторожа, дабы время себе текло,
тикая в тихой комнате недотроги.
Страх – это все непройденные дороги,
скрип половицы, вылазка мракобеса
в общество, с целью приобретения веса,
гул переулка, право стрелять в упор,
если в ограде вырос внезапный вор
из подворотни, словно косой мираж.
Страх – это состояние, которым страж
вынужден дорожить, как зеницей ока,
дабы не принесла на хвосте сорока
весть об отставке с почетного караула.
Дабы не захватила врасплох акула
тьмы, разрешается крикнуть «стой-
кто-идет», делая холостой,
прежде чем нарушителя наповал
выстрелом уложить, дабы не совал
нос не в свои дела, не в свои ворота.

Сторож – это таинственная работа.
Будка, забор тайги, наблюденье в оба.
Так в микроскоп разглядывает микроба
врач, дабы знать в лицо своего врага.
Выйдешь до ветру – бешеная пурга
бросит тебе в лицо набор канцелярских кнопок!
В этих краях, где, падая с неба, хлопок
слякотью растекается по весне,
сторож всегда в цене.
Чай завари покрепче, ведь впереди
целая ночь, и сердце, стуча в груди,
может остановиться на полуслове,
к недоумению мозга, барона крови.
Так иногда, в стеклянном плену, часы
могут поникнуть долу, собрать усы
стрелок в одну большую, сойти с ума.

Наледь окна, затейливая тесьма
вьюги. Так от магнитной залежи бредит компас
кладоискателя,двигающего корпус
через сугробы, с картой сверяя местность.

Стража суть положение, неизвестность
чем-то напоминающее, когда
действует окружающая среда,
нейтрализуя сгорбленного примата
в пятом углу бревенчатого квадрата
силою неевклидовых измерений.
Словно рога забредших в сугроб оленей,
дико торчат разбрызганные кусты
ветел. И дебри лиственницы густы.

На потолке паук неподвижен целый
день, будто подозревает меня в убийстве.
Можно подумать, он в комнате самый смелый,
а на расправу с мухами самый быстрый.

Эй, босоног, откуда ты взялся, слушай?
Где твое место? Двигай обратно в угол!
Это не передача «тяжелый случай»,
где в дураках оставляют одно из пугал.

Я бы скорей назвал это «стол находок».
Стол, где находятся вещи, которых нету
в розыске; по которым не плачет «кодак»,
уже, поди, заплакавший всю планету.

Лучше сказать: защелкавший. Но покамест
яблок на свете больше, чем хитрых лысин,
я благодарен миру, что он ухабист,
точно орех, что временем весь изгрызен.

А у кого там подкашиваются ноги?
Множество ног. Я, что ли, считать их буду?
Все пауки – ужасные недотроги,
каждый из себя корчит чуть ли не Будду.

Черным по белому бегаёт. Очевидно,
кончилась паутина. Я представляю,
как ему там должно быть теперь обидно
знать, что родная хата больше не с краю.
Поднимаясь из-за стола, не тревожа стула,
я, с легкостью в членах, чувствую, как я близок
к обмороку. На месте быть, если ветром сдуло,
собственно говоря, может только призрак.

АВТОПИЛОТ

Ожидание смерти, в чью пользу счёт
был открыт рассуждениями на предмет
осязаемости бытия, влечёт
за собой тоску, торжество примет
в чистом виде. На озере, в камышах
утка вскрикнула, крыльями лопоча.
Сердце вздрогнуло вдруг, замедляя шаг.
Без тебя догорела твоя свеча.

Навык мозга цепляться за свой же взгляд
на порядок вещей обусловлен тем,
что они даже мёртвого разозлят –
точно стадо козлят у церковных стен.

Даже будучи хлопнутым по плечу,
жизнь опасней, чем образ её, вести.
Потому псалмопевец и взял пращу,
поднял камень, валявшийся на пути,
к исполнению желания своего.

Голова тяжела, как запретный плод.
А внутри только серое вещество,
для которого нужен автопилот.

Ночью тело, впотьмах ото сна восстав,
валкой поступью двигается на свет
и скрипит половицами. На устах
у него ничего, кроме жажды, нет.
Утолять её ходят на водоем,
узнавая на каждом шагу следы
лихорадочного бодуна вдвоём,
если сделать из крана глоток воды.

Поднимая тревогу на всех углах,
ветер треплет обрывки передовиц,
сообщивших о том, как велик Аллах,

и что самое время, простёршись ниц,
совершить омовение в прахе дня,
дабы ночь не застала тебя врасплох.
Остальное всё, так сказать, херня,
ловля солнечных зайцев, подковка блох.

Если правда, что пишут в одной из книг,
расходящейся бешеным тиражом,
на счёт факта, что вызванный болью крик
громче рёва лезущих на рожон,
это значит, что надо, по мере сил,
как-то передвигаться туда-сюда,
как бы дождик по флангу ни моросил,
как бы ни окружала тебя среда.

С риском вызвать насмешки со стороны
подавляющего большинства людей
эти речи, как видно, сопряжены,
раз ты носишься с ними, как берендей
со своею плетёнкой берестяной
по наваленным улицам допоздна, пока вновь не
окажешься за стеной
в полном распоряженье сна.

Трудно вымолвить истину вопреки
долголетнему ремеслу житья.
Но молчать тем более не с руки.
Так что, сам себе режиссёр-судья,
человек отключает автопилот,
обрывая лишние провода.
Но зачем он об этом ещё поет?
Ведь ни пользы от этого, ни вреда.
Очевидно, желая сойти с ума.
Разорвать отношения с тишиной,
чтобы долго ждать от неё письма
русской осенью затяжной.

Превращаясь в лохмотья, шуршит листва
по бульварам, уставшим от беготни.
Солнце, на человека взглянув едва,
покрывается пятнами. В эти дни
небосвод расплывается, как обман
зрения, действуя в целях отвода глаз.
А у тех только было возник роман
с облаками, плывущими напоказ.
Эти клочья погоды, мечты стрельца,
поплавки беззаботного рыбака, –
словно близкого друга черты лица,
вспоминаешь издалека.

Ночью сердце постукивает тайком,
как собака, грызущая кость.
На холодной лестнице босиком
мнётся возле дверей запоздалый гость.
Обречённого маятника шаги
раздаются в шахматной тишине
меблирашек, где не видать ни зги,
чтобы тело, с мурашками по спине,
вспоминало, что где-то была душа,
занавески меняла, звала с собой
в некий рай, состоящий из шалаша
и любви, пока сердце не дало сбой.

Отказаться не в силах от барахла,
роговица подёрнута пеленой
листопадом обрызганного стекла.
За стеклом только слякоть и перегной,
отсыревший табак, прошлогодний прах,
изваянья покойников в полный рост –
в том саду, где не слышно работы Прях,
когда в голых ветвях умолкает дрозд.

Так сказать, обидел от власти
над одиночеством, полным страсти

перевоплотиться во что иное:
допустим, в мудреца, оставленного в покое

учениками, предавшимися промискуитету.
Да и как иначе? Ведь дело – к лету:

женщины будут разгуливать в легких платьях,
ну а мы – отдыхать в их нежных объятьях.

Место подобной мечты – восточносибирское гетто,
где часто нас отключают от электросвета,

воды, Интернета, короче, привычного ритма жизни,
за что спасибо молви Отчизне,

что на нет не свела шельмеца такого,
для которого главное в жизни – слово.

Вокруг зеркала рос трилистник,
а друзья заходили редко,
потому что я был завистник
тишины; потому что клетка

соловью показалась раем,
из которого нет исхода.
«Если хочешь, еще сыграем», –
шепчет ласковая погода.

Закружило дворы сиреню.
Тишина замульчет душу,
помогая стихотворенью появиться
на свет, наружу.

Век бы жил так, играя в «кошки-
мышки» с рифмой, но вдохновенье –
как единственный свет в окошке –
не в ладах с этой мирной ленью,

с этой выпивкою на пару
с кем попало, как в одиночку.
«Не задерживай долго тару,
Диоген, угодивший в бочку!»

Кто сказал это? Не двойник ли?
Тот, зеркал обитатель, эхо
сна, в который мы не проникли
до сих пор, ибо страх – помеха.

ГРАЖДАНСКИЙ ДНЕВНИК

Костявые кисти рук, покрытых татуировкой,
наподобье черновика, принадлежащего робкой
твари со слишком узкими для мужского
пола запястьями: как говорится, школа
жизни с отметками бреда по самый локоть.
Если чужая беда перестала трогать,
то своя – как рубаха смертника – липнет к телу,
сухожилиями страха подшитому к беспределу.
К звездоочитому хламу скорей, чем к храму.
К месту, куда бессмысленно телеграмму
с уведомленьем о скором туда возврате
пальцами барабанить на аппарате.

Ежели Богу слышно биенье сердца,
не сомневайся: встретишь единовеца,
мысли читать умеющего любые, –
будь то родная речь или голубые
грёзы в предместье с эхом из подворотен;
беглый отчет об отрезке пути, что пройден
и позабыт, как вырванная страница,
будучи вынужден как бы посторониться
перед наплывом новорождённой яви.
Большого требовать мы от судьбы не вправе.

На исходе бессонницы трезвый султан в гареме
засыпает, устав от любви как занятия. Время
продолжает вести себя так, что сыпется штукатурка
с потолка, словно снег на голову демиурга,
затерявшегося в толпе, нахлобучив шапку-
невидимку по самые брови. Точней, ушанку.
Потому что снаружи холодно, и к тому же
серебрятся, как зеркала под ногами, лужи.
Разверзаются хляби, захлапываются двери
перед носом ненастья. Вязы в безлюдном сквере
гнутя, теряя последние листья. Лишь изваянья
выслушать ихнюю жалобу в состоянье.

В такую погоду в зеркало глянешь, а там – Сванидзе
с предложением обязательно созвониться.

Черновики накапливаются разве
только затем, чтобы пишущие погрязли
в них окончательно, переставая помнить
обстановку чужих квартир, имена любовниц
и любовников, усыплённых одною песней,
исполняя которую станешь ещё любезней.

Иногда надоест доверчиво ждать автобус,
и дворовая слякоть опять искажает образ
и подобие неизвестно кого до встречи
со второй половиною этой бессвязной речи.

Мир меняется на глазах, ибо тяга к тайне
бытия возрастает, нам оставляя крайне
мало шансов узнать о том, что стоит в начале
всего сущего; кто качает твою колыбель ночами.

От обилия разветвляющегося бреда
голова забывает о хлебе насущном, недо-
понимая, что время тикает очень часто.
И когда-нибудь оно скажет: довольно. Баста.
Сущие в склепах многоэтажной глыбы,
жители – как аквариумные рыбы –
тычутся взглядами в окна спален.
И квартирант опечален
тем, что хозяин выключит его скоро
вместе с потусторонностью коридора,
где он гудел, бывало, подобно трутню,
терзая лютню.

Ветер от нечего делать изучает текст объявлений
на телеграфных столбах, как будто непризнанный гений,
мечется в переулках, где прожиты лучшие годы,
пляшет на перекрестках во имя своей свободы.

Дайте знать о себе скорее, пока не поздно!
Пусть мерцает асфальт под ногами, покуда звездно
городу, затонувшему в сумерках за дневные
грехи горожан, отошедших уже в иные
миры, повключавших ящики для просмотра
сериала, где всё реально: крутые бедра,
широченные плечи, выстрелы, мозги всмятку
и тесак в одно место по самую рукоятку.
Что поделаешь, если это законы жанра:
чтобы зрителю было жутко, дышалось жадно.
Речь обрывистие, сердцебиенье чаще.
Положенье вещей кричаще.

В зеркалах отражается всё, что угодно, кроме
вопиющей из-под земли, стынувшей в жилах крови.

По закону симметрии каждого человека
ждет расплата за всё, как вещая песнь – Олега.

Настоящая жизнь– это песня подвыпившего цыгана,
цокот копыт о булыжники, скрип рессорного шарабана
мимо толпы тополей, между мраморными дворцами
шумящих листвой, обитаемой уличными скворцами.
А я, мой далёкий друг, обитаю в тесной квартире.
Недавно меня в Красноярске порядком поколотили
ногами по голове. После такого футбола
мне стало без разницы, кто я, какого я возраста, пола.
До утра я был никакой и валялся на грязном матрасе,
пугаясь в осколке зеркала новой своей ипостаси.
Потом меня крикнул Андрюха, вернувшись с блядок,
и пара бутылок пива привела мои мысли в порядок.

Взгляд теряется в перспективе, поскольку брошен
на произвол вещей, существующих только в прошлом
времени, как товар – в антикварной лавке
с разговорчивым греком, охотно дающим справки.
Можно взять, повертеть в руках и вернуть на место
бюст мыслителя с мозгом, вылепленным из теста.

(Может быть, даже виновным в этих речах отчасти.)

Лишнее зачеркните, краденное закрасьте
без сожаления, как и велит рассудок.

О, без сомнения, странное время суток –
как отзыв о чем-то близком, знакомом с детства,
как то, на что невозможно не заглядеться –
шатается в анфиладах пригородных электричек,
узнавая себя во взглядах просивших спичек,
отвечавших, который час, исчезавших прежде,
чем успеешь окликнуть эхо в пустой надежде
поделиться тоской, оставить координаты,
когда подняты воротники, подозренья сняты
и сентябрьский вечер, как траурный флаг, приспущен
над антеннами шиферных кровель, во сне грядущем.

Успокаивай нервы, сплетая свои двустишья.
Да поможет тебе в этом деле сноровка птичья.

Если мысли гнездо в голове человека свили,
можно только довольно смутно судить о силе
Существа, наступающего простаку на пятки,
мудрецу задающего каверзные загадки,
а пространству повелевающего такое,
отчего все тела давно лишены покоя.

Сотворите себе кумира, потом разбейте
ненароком, тогда узнаете, что за эти
вещи спрашивается чуть строже, чем вы читали
в одной книге, да не заметили, как устали.
Как заклинило на повторе дурацким дублем.
А с утра на востоке то ли рисунок углем,
то ли дело рук населения – в силу света –
обнаруживает достоинство силуэта
перед той же окраиной с трубами кочегарок, –
как трибунами для закручиванья сигарок.
И понятливые сограждане полукругом
обступают тебя, своим называя другом.

Ты бы мог здесь обосноваться, найти работу,
на которую поднимался бы сквозь зевоту,
под истерику пучеглазого циферблата.
И росла бы, как на дрожжах, у тебя зарплата.
Но, ладонью впотьмах глуша дурака на ощупь,
ты, скорее всего, погружал бы свою жилплощадь
в состояние сна, где слон – повелитель моськи.
И никто бы уже не капал тебе на мозги,
но текло бы, переходя на другие рельсы,
столько времени, что горбатые погорельцы,
долгожителями сльвущие на погостах,
«караул» бы кричали, в трепет от девяностых
приходя на глазах у всяческих там «гринписов»,
озадаченных, как Арал это взял и высох.

В сумраке будущего, когда
по трущобам гаснувшего рассудка
загромыхает телега с кусками льда
(даже подумать жутко),
чтобы череп остыл от мысли, что голова
перестала соображать, а все члены тела –
повиноваться мозгу; когда слова
на какое-то время станут важнее дела, –
я к виновнику наваждения воззову:
может быть, Он тогда получше меня расслышит.
Ибо сон, если вспоминают, то – наяву,
когда смысл из него, словно сок из лимона,
выжат.

В городе, в лабиринте слепых страстей,
улицы перекручиваются в жгут.
Досыта кто наслушался новостей,
делай отсюда ноги, не то сожгут
дворники, заметающие следы,
вместе с листвою чучело тупика
энтузиастов, верящих до среды
в долг, начиная с полного коробка
спичек, кончая пачкою папирос.
То, что с тобою нынче произошло,
ни для кого в углах уже не вопрос.
А за углом – тем более. Ремесло
слежки давно сравняло тебя с землей
странствия. Ну-ка, шаркни стопой об ось
коловращения в сфере, где ты герой
будущего, которое не стряслось,
а сохранило в памяти голоса
птиц и людей, умеющих без труда
в Богом летать открытые небеса,
чтобы, взглянув оттуда на сон пруда
с рыбой, со dna глядящей на рыбака
немо, но без упрека, – вернуться вниз:
ринуться сквозь овчинку туч, через облака,
но зацепиться, падая, за карниз
особняка воротником пальто
под дружный смех сбежавшейся детворы,
то есть очнуться, соображая, что
бы все это значило, вне игры.

В городе распродажа старинных книг:
техника пилотажа, рецепты жить
чуть ли не под водою для тех, кто сник
духом, устал устраиваться; служить
движущейся мишенью на площадях
для психопата-снайпера, пса гурьбы.
Город исчез из виду, погряз в дождях.

Жители стали похожими на грибы.
Почти не движутся, жалкие с высоты
птичьего наблюдения. Пара крыл –
это залог уверенности, что ты
собственную судьбу наугад открыл.

Наступила зима. Снова к земле прибиты
стебли трав и следы зверей, убежавших в норы
переждать эту пору, во сне схоронить обиды на
поднявшийся ветер с клочьями бледной своры
над дрекольем тайги. Ударит мороз по стёклам:
начинаешь ценить узора замысловатость
и включаешь обогреватели. Всё же, тёплым быть
труднее, чем вырабатывать киловатт из
узловой реки, берущей начало с верху
тофаларских гор, куда без чужой подмоги
доберись ещё да с медведем сходи в разведку,
вспоминая по ходу байку про волчьи ноги.
Туркестанский загар сошёл; я уже порядком
пообтёрся в родных углах и снаружи глянул.
Положила зима конец беспонтовым пряткам.
Полумесяц во тьме торчал и туда же канул.

Как собака, взявшая след,
чую в городе запах денег.
И когда выключаю свет –
с воскресенья на понедельник –
в однокомнатной полутьме
всё равно тот же запах чую.
Будто сам себе на уме:
не живу здесь, а лишь ночую.
Будто выдумал эту всем
опостылевшую задачу.
Добываю свой хлеб и ем,
и в окне по ночам маячу.

Наплывают воспоминания,
умножая тщету подсознания.
Будущего нема. Токмо настоящее
и вчерашнее, за левым плечом стоящее.
Лучшее место для медитации – обсерватория:
плялишься на другие галактики, это уже история,
зане свет от них идёт хоть и быстро, но
когда мы видим его (зачем говорить выпендренно),
они давно уже стали черными дырами,
да и нашу брэнность едва ли вылечишь эликсирами,
отказом от вредных привычек или кремлёвскими таблетками.
Слуги нечистого обычно оказываются меткими
и забирают души лучших людей с лица Земли,
а небеса – как Швейцария – в голубизне своей замерли.

И пускай мы на свет рождены с жалом бессмертия,
никто – ни снизу, ни сверху – ещё не посылал нам конверта
и подписи: «Я в Аду» или «Я в Раю».

Вот о чём я порою думаю.

Человек, если он живой,
обойтись не может без света.
Исключение – ночь. И вой
волка суть ночное либретто.

Нынче день на убыль идёт:
света меньше, темнеет рано.
Я веду зимним дням учёт,
хоть и выглядит это странно.

Я зачёркиваю число,
забываю о нём надолго.
Поэтическое ж ремесло
в основном – это чувство долга

перед Богом, перед людьми,
перед временем, что уходит
неизвестно куда. Взгляни:
вот и сон на тебя находит.

Наважденье берёт в щипцы
и тилискает твою душу.
Прекращают свой бой часы,
и кукушка торчит наружу.

Через какую-то пару часов
всё передвинется с места на место.
Шлёпнутся глупые куры с насеста,
скрипнет калитка и стукнет засов.

«Утро настало!» – воскликнет петух,
пёстрый глашатай указа Господня.
Перевести не успеете дух,
как уже снова – «сегодня».

Скоро закончится стража ночная.
Гаснут, увы, светляки в мураве.
Носится ветер в моей голове,
надоедать уже мне начиная.

Колючки – собственность ежа.
Лесничим осени служа,
когда роскошны купы клёнов,
вдруг превращаясь из зелёных в
янтарно-бурый листопад,
и солнце клонится на запад
(овины возле щуплых хат), –
он понимает прелый запах,
и, как награде, листьям рад.

О, златоглазая метель!
Уляжется, потом со взмахом –
сродни разорванным рубахам –
встаёт и пляшет с вертопрахом,
взбивая царскую постель!
Идёт босая диким шляхом
с хорунжим-ёрником и с ляхом,
уныло дующим в свирель.
И дарит тусса с брусникой
от щедрости тысячеликой,
ещё воспетой не сполна,
хоть полною бывает только
над бахромой тайги луна,
недосягаемая полька.

Увидимся когда-нибудь
или срастёмся близнецами. Не
век же пить разлуки муть:
часами, днями, месяцами.
А что в плену, то плечи пленниц
ещё ласкаешь иногда. Застряли
в памяти года,
как стужа – в решете поленниц.
Цевница старая груба,

рождая хриплые подобья
любви, моя цевница вдовья,
минутной похоти раба.

Шарахнется тревога близ
облепленных кустами стёкол,
или пичугой под карниз
забьётся, чтобы дальше токал,
блуждая комнатою, взгляд.
А комната ко мне привыкла,
кушая локти, ставя мат.
И долу голова поникла.

Долины сочных городов
ей грезятся, грозят и снятся.
Невмоготу, когда бардов
закат, уйти куда-то, сняться
с пустого места в дальний путь,
как будто лодку подтолкнуть,
колеблемую на приколе.
Так тело, пребывая в холе,
шершавинки, пыли дорог
и беспокойства не приемлет.
И лишь душа хмельная внемлет
Тому, Кто ей отмерил срок.
И рвётся к осени простора,
как птица певчая без хора.

ЖЕНСКИЕ РУКИ

Женские руки в пряже, нежных два ручейка
вяжут тебе кольчугу летними вечерами.
Только для поцелуя созданная щека
принадлежит любимой. Только в оконной раме

явлен бывает образ: это, конечно, ствол
тополя, разметавшего перед грозой ветки.
Когда наступает время садиться за письменный стол,
то, словно кулисы театра, присобраны занавески.

На расстоянье брошенного со зла
слова плывут очертанья в дымке.
Мужики за дощатым столом забивают весь день козла,
громко стуча костями. Бегают невидимки

по Старому Городу, словно выживший из ума
гардероб короля, которому нагадали
встречу с прекрасной пастушкой. Однако пришла зима,
гипнотизируя взглядом из-за вуали

набережного тальника. Серые воробьи
копшатся на мостовой. Если сказать по правде,
новости никудашные: в Грозном идут бои,
цены растут, как поганки. Также сюда прибавьте

мрамор этого полдня. Выломать бы кусок
и зашвырнуть подальше. Так, мяч посылая в ворота,
попадаешь в окно соседа, наблюдающего в глазок
за жизнью лестничной клетки. Носишь ярлык уroda
до тех пор, пока не окажешься в новой главе судьбы.
Женские руки вяжут тебе кольчугу
из золотого руна. Здорово было бы
вновь оказаться вдвоём, чтобы сказать друг другу

«здравствуй». Однако ветошь осени, да толпа
в очереди за разным, автомобильный гомон

и прочая намекают на то, что не мысль глупа
сама по себе, но способ её воплощенья сломан.
Не знаю. Похоже на то, что крепко заело вертлюг
игры, доведённой Богом до совершенства,
но позабытой людьми. Замкнуло спасательный круг.
И не с кем вкушать блаженство.

Читая чужие мысли, конец иглы
плавает на пластинке. Тьма, проникая через
щели чулана, тихо скрадывает углы.
В голову лезет ересь.

Я хочу, чтоб озвученною душа вырвалась из силков
юдоли. Пусть уменьшается в птичьем зрачке мегаполис.
Юдоль – это мокрое место на карте страны дураков,
а вовсе не Северный полюс.

ЗАПАХ НЕЗАБУДОК

Я падал, как подкошенный, в июньский травостой
и забывал действительность, терялся в облаках.
Они кружили голову, манили высотой,
они меня, как ангелы, носили на руках.

Естественно, кузнечики пиликали вокруг,
гудела возле меда хлопотливая пчела.
Чего там только не было! Внезапно, сразу, вдруг.
Трещало без умолку, наступало без числа.

Как пахло незабудками, запомнила душа.
Живёт воспоминание, как музыка в груди.
В узорчатое зеркало мечтательно дыша,
хотя бы на мгновенье наше лето возроди!

В голове моей гуляет ветер,
а снаружи наступает вечер,
золотя карниз пятиэтажки,
где я существую от затяжки
до затяжки дымом сигареты,
обволакивающим предметы
комнаты, где без тебя – пустыня,
и луна в окне торчит, как дыня.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ЗИМЫ

Мы расстались в сумерки ледостава,
когда неделя тянется, как октава
разучивающего сольфеджио Гулливера
над щетиною сопок; когда химера
мёртвой осени силится что-то крикнуть
из засады раKITНИКА во всё горло.
Мы в разлуке, но я не могу привыкнуть,
точно зимняя стужа меня припёрла
к стенке, делая силуэтом
доставлявшего тебе столько
неприятностей этим летом
тела, что силуэту горько
вспоминать обо всём подробно.
Человек, если дышит ровно,
восстанавливает построчно
то, что было совсем недавно.
Сердце требует правды – срочно,
а бессонница тянет – явно
за собою. Так душу тянут.
Я не знаю, кто был обманут.
Ты помалкиваешь. И в этом
смысле мы перед зимним светом
одинаково уязвимы.
В поле зренья зимы. А зимы
здесь жестоки, длинные, как повесть
с героинею без сюжета.
Только ближе друг с другом знакомясь,
начинают новое лето,
словно бегство на юг, в Египет.
Там другая страна, всё другое.
Не песок же глаза нам щиплет:
дарим самое дорогое
навсегда, не меняя в корне
представленья богов о форме
наслаждения, что внизу, на
шаткой тверди слегка безумно.

Под пиликанье шестиструнки не
слышны никакие речи.
Кляксы звёзд на твоём рисунке с
детской подписью: «Там, далече,
жди меня за семью морями»
расцвели вопреки Борею,
как Стожары в оконной раме.
Позабудь обо мне поскорее.

Хлопья звёзд, облепивших купол
мироздания, битва кукол
у забора напротив клуба.
Может быть, я вёл себя глупо
с точки зрения кашея в бейсболке,
чья смерть – тоже конец иголки,
но чья сила – в числе шестёрок.
Коломбина, ты знаешь, я не
подвизался служить в актёрах
на виду поселковой пьяни.

Память требует нас к ответу
напрямик, отрицая Время
с его властью сживать со свету
человека, несущего бремя
бормотанья под нос, с обиды
на далёкие берега, что
неизменны в своем «плыви до нас,
если мучит жажда странствий».
Измена месту пребывания
поневоле
сводится к переезду
с одного на другое поле.

Сброс балласта, выигрыш темпа,
распродажа нехитрого скарба
с молотка, чтобы плыть затем по
бездорожью страны, чья карта
бита ливнями врассыпную.

Я ревную тебя, ревную
ко всему, что меж нами встало,
к расстоянию и к разлуке,
к небу зимнему цвета кристалла,
к заметающей следы вьюге.

Глубокое небо Азии – не насмотреться.
Здесь даже как-то особенно бьётся сердце.

Выйдет сосед из подъезда, закурить попросит,
а у самого на висках уже проседь.

Так и состаримся тут, в этой глубинке,
навещая друг друга, стаптывая ботинки,

напевая под шестиструнку старые песни, баллады, блюзы,
загоняя от нечего делать шары бильярдные в лузы,

да шабить анашу, которая всегда рядом,
хоть известно, что от неё высыхает разум.

А на кой мне разум в этом мире без правил?
Я б такой мир на три буквы всерьёз отправил,

а не то – послал бы эти три буквы ему в конверте,
постигая по ходу, что жизнь – репетиция смерти.

Табор цыганской листвы по двору кочевал
и всё пытался, по-моему, двинуться в дальний
путь, да и ветер на это его подбивал
с помощью русской погоды континентальной.

Если известно, что множество разных людей
одновременно шагает по улицам мимо
сытых витрин, избегая тоски площадей,
значит ли это, что данное множество мнимо?

Значит ли это, что скоро пора по домам,
в недра квартир, заслонившись вечерней газетой?
Утром под окнами снова дежурит туман,
словно бродяга отпетый.

Мой профессиональный долг –
узнать, о чём горюет волк,
когда он воет на луну.

Мой долг – услышать тишину
блаженных клеверных полей,
понять вершины тополей,
чья серебристая листва
всегда по-своему права.

Замысловатые сады
роняют осень плоды.

Как быстро минула жара.
Пятнистых яблок кожура
нежна, как детское лицо.
Убрал, как жертвенник, крыльцо,
червонцы грудями лежат.
Они земле принадлежат,
но рады ветру послужить,
когда начнёт он их кружить
в сквозных чертогах октября.
Взгляни, вечерняя заря
зажгла рябиновую гроздь.
Я чувствую себя как гость
на этом празднике богов,
внимая шелесту шагов.

Время неумолимо,
счастье необъяснимо,
существование мнимо,
верен же только Бог.

Что же нам делать дальше,
дабы избежать фальши,
вдаль устремляясь. Даль же
нас застаёт врасплох.

Будучи виноваты,
малость придурковаты,
вскоре займём палаты
жёлтого дома вновь,

где будем жрать баланду,
либо собьёмся в банду,
дабы внимать сержанту
Пэпперу. Дабы кровь

мощно играла в теле.
Дабы врачи вспотели,
и на Страстной неделе
нас отпустили вон.

Вон из юдоли скорби.
И мы споём в восторге,
что побывали в морге,
но победили сон.
Сон – не из самых страшных,
бред – не из самых страстных,
хоть и огнеопасных,
если взирать в одну

точку, припоминая,
что была жизнь иная

где-то в начале мая,
только пошла ко дну.

Вспомнишь тут Атлантиду
и затаишь обиду,
не подавая виду,
что удручён весьма

собственную судьбою.
А детвора гурьбою
к снежному склонна бою,
ибо пришла зима.

Перемычки коридоров, переключки постояльцев,
простыня казённой койки, обезглавленные сны,
недосолы разговоров, перехрустыванье пальцев
да тщеславные помойки расплескавшейся весны.

А сограждане под утро, словно глупые котята,
слепо тычутся в троллейбус, утрамбованы с трудом;
иней на ветвях – как пудра, на душе холодновато
и мигает, точно ребус, окнами кирпичный дом.

Музыка накатывает на меня,
как стихия огня,
в котором можно сгореть дотла.
Вот такие дела.

Надо чего-нибудь выпить. Иначе – хана.
Музыка не погибнет, но станет нежна.
И незнакомка, слушая твои песни,
скажет несколько слов о высокой болезни.

Любопытство к вещам, оставленным без присмотра,
трогает их владельца, который бодро
декламирует новые, слегка позабыв о старых.
Либо дремлет на нарах.

Когда страна живёт впритык,
сводя концы с концами,
никто не тянет за язык,
который от рожденья дик
и дерзок с небесами.

Слова слетают с языка,
в эфире тая.
Петляет во поле река,
да непростая,
с излучинами. Как лукав
и рострен к устью
береговой её рукав.
Река живёт в моих стихах,
верна родному захоластью.

Я медлю возле той реки
узорной, тихой,
где мирно дремлют рыбаки,
разглядывая поплавки.
Где всё так близко, так с руки.
В селе мерцают огоньки
и пахнет облепихой.

Осуетились и забыли
Владыку жизни – ты и я.
Как много на предметах пыли,
но пыль есть признак бытия.

Её стирая влажной тряпкой,
не забывай об этом, друг,
и чудо соверши за краткий
век ожиданий и разлук.

Такое чудо, чтобы пелось
о нём в лихие времена.
Всё остальное, друг мой, мелочь.
Нарушенная тишина

мстит эхом и грозит повтором
тому, кто странствовал и пел.
Кто был в разладе с местным хором,
но душу высказать успел.

... и книга валится из рук,
всё меньше поводов к веселью ...
Такая тишина вокруг,
как будто стала самоцелью.
Внимательная тишина
прислушивается к творенью.
Пора воспрянуть ото сна,
дать волю голосу и зренью,
наружу выйти налегке,
в лица попутчиков взглядеться.
Рвануться в сказочном броске
к садам утраченного детства.

Запуск бумажного змея на пустыре,
чередование узоров в калейдоскопе,
чтобы, в конце концов, коротать в дыре
век свой: как бы отсиживаться в окопе.

Вид из окна засмотрен до немоты,
ропот листвы зачитан беспечным ветром.
Осень уже наступила и жжёт мосты,
соединявшие нас в этом мире светлом.

Каракатица-землеройка, словно зверь с перебитой лапой,
осторожней на поворотах, остановку не поцарапай,
говоря, выдыхая горечь одной затяжки
перед тем как сделать другую. На фоне пятиэтажки
столько жирного чернозёма отбрасывается налево,
что впору столбить огород, остаканившись для сугрева.

Так вот кто забил на топтыгинские подачки!
Ползай, железная гусеница, назло транссибирской спячке,
в пользу будущей теплотрассы муниципальной,
как сбежавший из жёлтого дома поэт опальный,
изрыгая свои проклятья. До зрелищ жаден,
отпускаю тебе твой грохот. Из чрева ползучих гадин
иногда появляются люди в распахнутых телогрейках
и после тяжелого дня приходят домой, как в церковь.

Какие краткие свиданья!
Какие долгие разлуки!
И у меня от расставанья
немеют руки.

Душа немеет. Замирает
весь мир вокруг до поцелуя.
Сердце дыханье забирает,
в груди тоскуя.

Когда бы знал я, дорогая,
что ты моя, моя всецело,
я б жил, тебя оберегая.
Немеет тело.

У святочных баек – изнанка пурги,
шлифующей наст иступленно. Попробуй
сунь нос за порог, если звёзды – враги.
В разгаре челночная месса двурогой

царицы, чьи волки затеяли спор
о том, кто выносливей к стуже навьлет.
Охотнику видно: таёжный забор
еловыми зубьями сумерки пилит.

И слышно, как хохот неясности мстит
истерике заячьей плоти за бегство
в улусы, где солнце вразбивку мостит
такыр, затерявшийся в поле, как детство.

Того, кто по насту строптиво чертил,
колючие звёзды к ответу притянут.
Не высохнет даже заклатье чернил,
когда петухи звонкогорло воспрянут

на пряслах хоругвями нового дня.
А нотные станы косых огородов
послужат ещё партитурой огня
для солнцелюбивой артели рапсодов.

Вместо божницы – хмурое стекло
квартиры в гробовой пятиэтажке:
как будто меня время засебло,
как оборотня в клетчатой рубашке.
Дело – табак. И всё-таки тепло.
Так дышат от затяжки до затяжки.
Дышать – особенное ремесло,
тогда как петь умеют даже пташки.

Малина, вертоград, усадеб острова –
сад торжествующей в своем единстве мысли.
Мечтательной луны больная голова,
глаз Бога надо всем – как во блаженном Мисре.

Но в этой одноглазой правоте
погребена тревога демиурга
за серебро дороги на воде,
бегущей под мостами Петербурга

перед глазами жёлтых фонарей,
под пыльный возглас улицы, что снесу
не подлежит и выжила скорей,
чем уцелела, бегая на босу

ногу, в рубище мглы, ночующей в углах.
Я знаю городов отверженное небо
и нищету дворов, и как велик Аллах,
и какова цена чужого хлеба.

Поскрипывает на бегу трамвай
с расхристанным повстанцем на подножке.
Дорогу на вокзал не забывай
под хриплый рок-н-ролл губной гармошки,

записанный в мозгу благодаря
отсутствию магнитофона в доме,

рабочих мест в округе, звонаря
на колокольне, мира на ладони.
Курчавый подорожник-карагач,
арча в хрустальной радуге фонтана.
Если Москва похожа на калач,
то тёплая лепешка – символ Туркестана,

чей каменистый жертвенник – в цветах,
и голуби взмывают из-под кровли,
подхватывая то, что на устах
у горожан, живущих от торговли.

Растенья-буквы, переулки-сны.
То висельника смех, то лай собаки.
Смоковница тоскует у стены,
бродяге-ветру подавая знаки.

Верни мне речь, отступница-змея,
либо сродни меня с ветвистостью древесной.
И дай мне пить, ибо вода – моя
спасительница в лихорадке песней.

День и ночь я надежду храню,
как резной амулет на груди.
Сердце бьётся, как пуля в броню.
Говорят, ещё всё впереди.

Распрощайся с веслом и плавни
по теченью, ведь это река
человеческой правды, любви,
побеждающей узы греха.

Мерцают огни большого
города светляками
во мгле. На душе бомжово.
Облеплены мотыльками,
стоят фонари на страже
до боли знакомых улиц.
И нет состоянья гаже,
чем петь, над листом сутулясь,
о том, что в деревне свежий
воздух, и всё такое.
Поблизости лес. И леший
в нём должен водиться. Кое-
где водятся даже деньги,
печатаются газеты,
парням улыбаются девки,
довольно легко одеты.

И тянет туда, как магнитом:
от ветхости деревянной –
к крепко пригнанным плитам
скатерти самобраной.

Я больше не буду, Боже,
бросаться на хриплый оклик,
но в каждом вокзальном бомже
я вижу Твой смутный облик.

Люблю гусиное перо за
писчебумажный скрип с наклоном
главы, строки.
В нём сразу тополь и берёза,
тоска по замкам и колоннам,
черновики
ночей наедине с Началом,
где Слово пребывало прежде,
чем, плотью став,
явиться в славе к одичалым
рабам, уставшим жить в надежде,
творя в устах
какого-нибудь ясновидца
глаголы праведного гнева.
Не позабудь
о том, как сердцу трудно биться
за правду, ведь оно же слева
стучится в грудь.

НА ЧЁРТОВОМ КОЛЕСЕ

Я снова катаюсь один на чёртовом колесе.
Временами хожу в кино. Сам создаю химеры.
И сам их уничтожаю. Хотя далеко не все.
Видимо, чувство меры

живёт во мне, словно спрятанный стоп-сигнал,
по утрам запрещающая кричать от восторга, а вечерами –
бесноваться на дискотеках и так далее, чтобы знал
своё место, как фотография в пыльной раме.

Не высовывался. К чему нарушать покой
объективной реальности, данной тебе в нагрузку,
как общественная работа, без которой ты кто такой,
долбит дятел о ствол долотом, не даёт древоточцам спуску.

Из берлоги, ломая хворост, идёт медведь
и ворчит, узнавая дебри, в которых вырос.
Вот и самое время взгляды пересмотреть,
обновить гардероб, удалить из программы вирус.

Люди заняты чем попало, не покладая рук.
Гибель цивилизации – сказано слишком громко.
Плодиться да размножаться, такие дела, мой друг.
Исполним завет, пока существуем. Кромка

окоёма бледна, как чахоточная жена.
Щетина стерни, где недавно стояла озимь.
Небо сквозь ветви. Роща обнажена.
А мы ещё помним, как полыхала осень,

сбрасывая на землю цифры календаря
с выкройками для жён, листающих гороскопы
мужей, в надежде найти свой ритм благодаря
мерцанию тусклой скобы

с юга на север, с запада на восток,
над кровлями города, что раздается с каждым
месяцем или младенцем вширь или ввысь: итог
трудолюбивости граждан.

Наблюдатели сообщают о начале весны. Грачи
на местах, колупаются клювами в огороде,
находя себе там естественные харчи.
Червяка, например. Или что-нибудь в этом роде.

Человек, оставляя комнату, книги, пыль,
недоτροгу в трюмо, стремится наружу, дабы
отряхнуть наваждение. Так иногда бобыль
вспоминает о существованье бабы.

Потому что мясная лавка, пивной ларек,
отделение связи, местные пешеходы –
в свете солнца и в силу факта, что рай далёк –
означают одно и то же лицо погоды.

Вот и жмуришься, будто сам себе на уме,
достаёшь из кармана мятую сигарету,
понимая, что наступает конец зиме:
чёрно-белому сброду веток и снега, бреду

серых валенок, ожиданию тёплых дней.
Оттого-то в руках у дворника нынче заступ.
И случайный взгляд из толпы родней,
чем мерцание свеч в церквах или сыпь глазастых

звёзд бессонницы. После ветра свободы вряд
ли захочешь глотать, как рыба с крючка – наживку,
тлен убежища. Вещи, собственно, говорят
то же самое, человека сводя к обрывку

терпеливой бумаги. С бледного потолка
смотрит лампочка полумесяцем из вольфрама.
Паутина есть выражение паука,
как поэта, когда нельзя выразиться прямо.

Возглас в горах, эти мысли, соитие, зеркала
суть умноженье действительности. По крайней мере на два.
Наставница (в смысле – рогов) обыкновенно кляла
меня за каждую двойку по физике. Моя клятва

запоздала, звуча скорее как трын-трава.
Зайцы косят такую траву натошак, с похмелья.
По весне ж она лезет из дёрна, сознавая свои права,
словно каторжник с его песнью из подземелья.

Песня, как смысл жизни, делает речь
членораздельной, а голос – немного хриплым.
Иногда возникает желание поразвлечь
публику разговорами, рваным ритмом

улицы, возвращая слова в молву,
с чувством исполненного перед нею долга,
дабы она узнала, чем я живу,
и наконец умолкла.

Поступки – те же слова,
но внятнее, членораздельней.
Ясно, как дважды два.
Но как же быть с богадельней
поэта, с его тоской
по мировой культуре?
Особенно в такой,
как эта, миниатюре.

Действительный тайный советник, я действовал, как лицо
без имени: просто ДТС плюс порядковый номер.
А город с его квадратурой вращался, как колесо.
Казалось, что в этом городе сам губернатор помер.
И все по нём в сером. И в окнах пылью подёрнулся тюль.
С геранью горшки на верандах и блёклое солнце. Больше
не буду писать об этом. Прости. Се грезит июль
нашей с тобою, Лада, помолвкойю в сказочной Польше.

Я снимаю цветные широкоформатные сны
на основе короткометражного бреда весны,
духоты захолустного лета, тщеты новоселья,
да попыток избежать расплаты за все косяки,
совершенные мною скорее на почве тоски,
чем в припадке веселья.

Дурно пахнувший завтрак, огрызок карандаша,
совмещённый санузел, раздвоенная душа,
довоенная музыка, Чарли в пингвиньих обувицах.
Черновик, разрастаясь, как форма безумья, извёл
листопадную гору бумаги. Читающий квёл,
зато дик в прибаутках.

Хотя скоро квартплата, чей астрономический срок
истекает к субботе. Поэтому стая сорок
тарахтит без умолку
про такую любовь, при которой полезна морковь.
Если целиться в глаз, попадёшь обязательно в бровь.
Опусти же двустволку.

Постигай обстановку. Присматривайся. Поплотней
познакомься с соседями. В этом театре теней
попадают люди.
Без бутылки не сразу поймёшь, отчего голова
лицедействует, требуя слова, качает права,
подаётся на блюде.

Черновик на столе, словно совесть в разрезе. Успеть
бы закончить его, прежде чем эту песенку спеть.
Прежде нежели сгинуть
я достигну во сне состояния кайфа. Мой сон
остаётся глубоким . Я в нём до небес вознесён.
Надо руки раскинуть

и парить орловзоро на гребне воздушной волны,
потому что внизу города по закону войны
превращаются в щебень.
И шипит ядовитая влага на стогнах столиц,
испаряясь и снова беспомощно падая ниц.
Опускается гребень.
Небоскрёбы руин, словно сваи разрушенных дамб,
образуют, торча в облаках, театральный эстамп.
Передёрнув затворы,
красномордые контраст кончают в овраге врага.
Каждый счастлив, что смог ухватить: кто – быка за рога,
кто – копыта конторы.

О, жизнь моя, приправленная бредом!
Я сам себе по-прежнему неведом.

Пображничал в Москве, домой вернулся
и пятистопным ямбом улыбнулся

родным и близким, близким и далёким.
Всяк человек бывает одиноким.

Особенно когда врасплох застигнут
он приступом тоски, и не привыкнут

никак его глаза к чужбине громкой,
сколько бумагу в кулаке ни комкай.

Когда жизнь, как свобода затворника, начинается поутру
с одинокой прогулки в аллеях облетевшего за ночь парка,
мне практически всё равно, что когда-нибудь я помру,
перестану существовать и мне будет уже ни жарко,
ни холодно в качестве голого зренья, летящего сквозь
серебристую даль сентября, наподобие той паутинки,
что скользит над сельским погостом, понадеявшись на авось,
пока не исчезнет из вида, как мелодия в центре пластинки.

БЕЗ ПЯТИ

Сегодня был удачный день
и дерево бросало тень
на местный рыжий песок.
И ни один колодец в посёлке не пересох.
Однако поблизости никого
не занимает твоё серое вещество.
Не берёт, очевидно, за душу, так сказать.
Так оно даже к лучшему. Доказать
не в состоянье будучи свою роль
в нынешнем обществе, как король
кареглазый, со свитою, без дворца,
ты всё чаще прислушиваешься к заповедям скворца-
пересмешника, подражая ему слегка,
перед тем как он исчезает под облака,
то есть делается невидим для всех подряд,
исключая тебя: твои фонари горят
повдоль улицы, как сутулый глазастый сброд,
одноногий и неподвижный ночной народ.
И ты сливаешься с местной флорой, когда пешком
возвращаешься к одиночеству в городском
смысле этого слова. К полному, во плоти.
И поэтому на часах у тебя – без пяти.

Я брёл в толпе, не разбирая
стези, куда глаза вели.
Как ангел, изгнанный из рая,
дабы узнать пути земли.
Вдруг ветка мёртвая за ворот
упала, шею щекоча.
Передо мною снова город,
и на решётке два грача,
картавя, спорят о погоде.
Листва рубцуется листвою,
и брошен вызов всякой моде,
заляпав камни мостовой.
И дивно мне смотреть на пламя,
искать тебя в толпе зевак,
любовь моя, пугливей лани,
скажи хоть слово, дай мне знак.

БЕЗДНА

Хочу петь, но рождаю стон.
Вижу стул и сажусь за стол,

но, как правило, захожу в тупик.
Вижу рельсы. На рельсах – сухой тростник.

Говорящим же был ведь когда-то он.
Я подробней хочу, но рождаю стон;

и я кашляю в сумрачной пустоте.
(Я курю слишком много). Слова не те,

что хотелось бы, мне поступают в мозг.
Между ними – война, а за ними – мост,

что соединяет мою скудель
с миром, где трудно нащупать цель

бытия на распутье: лишь два пути
тут наличествуют. И, каким идти,

я не в курсе, хоть мне говорила мать:
«Коль широким пойдёшь, будешь век хромать».

Ну, а узкий, который избрал Христос,
не под силу мне, доводя до слёз.

Как известно, третьего не дано.
Я всё время падаю. Где же дно?

Все мы немного с приветом,
только не знаем об этом.

Все мы немного на взводе,
хоть подражаем природе.

Все мы кропаем нетленку,
бьёмся башкою о стенку.

Надобно делать работу
нам над ошибками, с лёту

схватывая, что не видно
праздному взгляду, ведь стыдно

не замечать, как окрест нас
мучается неизвестность,

ибо она не воспета
вещим глаголом поэта,

будучи тем, что в начале
крепко стоит и ночами

наши кровати колышет
и, разумеется, слышит

наше дыханье ночное,
сердца впотьмах перебои,

егда все вещи двоятся,
то есть кошмары нам снятся.

Верую, что переждем
нашу тоску, не заложим

дьяволу души свои мы,
как бы ни были гонимы

по временам и безбожны,
то есть бессильны, ничтожны, –

рукодело не даёт нам согнуться
как тварям бесплотным,

и возвращает молитва
к чувству вселенского ритма.

ГОЛОС ИЗ ЗАХОЛУСТЬЯ

Взгрустнётся на исходе дня;
о чём – пойдя дознайся.
Но у кого? Твердит родня:
«Плодись и размножайся».

Кровать пуста, в уме – полста:
всё ближе к перепутью.
Что мне назвать во дни поста
существованья сутью?

Не воздержанье же в еде?
Ведь все мы пищу любим.
Она везде, везде, везде ...
... дана на радость людям.

Кто курит план, кто пьёт коньяк:
досуг разнообразен.
А кто-то вкалывать мастак:
ему подай станок, верстак.
В мечтах же – буржуазен.

«Улыбнись. Нам улыбка идёт...»
Александр Кушнер

Давай улыбнёмся тому,
что вечер сиренью душист.
Что есть основанье ему
продлиться, ложась нам на лист.

Давай улыбнёмся реке,
что к морю бежит налегке,
влача свои воды туда,
где тоже, по сути, вода.

Но только на вкус солона.
Возможно, от пролитых слёз.
Давай убедимся сполна,
что мы существуем всерьёз.

Давай улыбнёмся врагу,
ведь солнце пылает для всех;
сошлём себя сами в тайгу,
расслышим свой собственный смех.

Давайте, восстав ото сна,
прославим Владыку сердец,
когда на пороге весна
и белому бреду конец.

ДВОЕ

Мерцали звёзды подо льдом
январских окон,
и ночь укачивала дом,
плывущий с Богом.

И двое, на краю земли,
не без испуга,
по лестнице любви взошли,
найдя друг друга.

День Ивана Купалы.
Память брезжит о чём-то:
бредит, должно быть, девчонка
в поисках пары.

На улице гам и шорох,
водой обливаются дети.
Всё в порядке на ихней планете.
И вчерашняя пыль на шторах

пахнет библиотекой,
неразгаданным лабиринтом
и себя не нашедшим ритмом.
Вот и кумекай,

соображай, как звали
событие в твоём прошлом;
ты ведь нынче заделался взрослым,
генацвале.

Тебе уже тесновато
в родном языке могучем:
то к облакам, то к тучам
тянешься виновато.

Пленник места, завистник Лета
Господнего, хлыщ трамвайный,
изчезнувшего дневальный
и вечная сигарета

в пепельнице, остывший
чай в разрисованной кружке.
Мухи – твои подружки,
и человек ты бывший.

Шатаешься по безводным
местам, искушаем миром,
стараясь быть милым
к животным.

Вечером в ногах у тебя мурлычет
котёнок, а в изголовье
зегзица кого-то кличет
с любовью.

Я с ума до тех пор не сойду,
пока слуху доступны рулады
соловья в монастырском саду
среди благоуханья прохлады.

Шевелится древесная мгла,
словно змей в лабиринте соблазна.
Соловей раздражает щегла:
поединок звучит полногласно.

Поневоле забудешь глагол,
позавидуешь твари пернатой,
как зальётся горластый щегол,
изумляя тебя серенадой,

чтобы, в келью вернувшись свою,
либо в пыльный покой меблирашек,
ты щегла предпочёл соловью,
пробиравшему аж до мурашек.

ДИАЛОГ

Отчего ты бледен, как поганка,
и напоминаешь мне подранка?

Спрашиваешь, отчего я бледен?
Здесь климат мне, должно быть, вреден.

Не сказал бы. Я вот существую:
над любой погодой торжествую.

Ты – другое дело. Видно, крепче.
И твое существование легче.

А меня все время тянет к югу,
там бы отыскал себе подругу,

позабыл бы вьюгу да метели
и с любимой нежился в постели.

Ну, а здесь грохочет электричка
и над духом царствует привычка.

Курево, проклятые вопросы
к вечности, где слишком много прозы.

Ветер разгулялся не на шутку.
Тяжело бессонному рассудку.

Дополняю объём матерьяла:
выхожу погулять по двору.
Под рукой – ни меча, ни орала,
но хотел бы продолжить игру.

Так загадочно всё, что творится
и рождается в бедном мозгу:
двойники, собеседники, лица,
что тревогу унять не могу.

Я с раздвоенностью этой свыкся:
сколько лет уж копчу потолок.
Искупаться, что ли, в водах Стикса,
нарушая положенный срок?

Потому что терпеть эту лажу,
что зовётся юдолью земной,
нету сил уж почти, но на стражу
снова стану я с полной луной.

Дорогая проводница
или тот же проводник,
у меня в глазах двоится,
да и сам я – ваш двойник.

Вы – кочевники. Я тоже
не дружу с родным углом.
Путешествие дороже,
чем сдавать металлолом.

Чем таращиться на стены,
лучше на авось
взять и выйти из системы,
сделав шаг насквозь.

ЕВГЕНИЮ РЕЙНУ

Заглянули почтовые горлинки в дом
и запели скворцы, что разлука ничья.
То подернута райская недолга льдом,
то серебрена трель у родного ручья.

Шмыгни носом, апрель. Осторожно, зима.
Ты растаешь сейчас до последней звезды.
Никого не проси, догадайся сама,
кто устроил сегодня движенье воды.

Говорят, типографская краска хранит
тайну крепости слов и нельзя разобрать,
где чернила, где кровь, где резец, где гранит:
терпеливые буквы подшиты в тетрадь.

И, в анапесте пестуя ритма росток,
я не чувствую сзади подрезанных крыл.
Я смотрю на восход и пишу на восток
иероглифы счастья, плыву без ветрил!

Возле гавани датской огниво куплю,
чтобы с трубкою грезить о бреге Невы.
Помахая перчаткой вослед кораблю,
с изваяньями стану, как взрослый, на «вы».

Пусть к измене склоняемы чаши весов,
вечера зажигают огни за рекой,
запираются двери на крепкий засов,
опускается занавес, словно покой.

И, на локте привстав, обвожу темноту
жадным взглядом, охотясь очами вотще.
Говорило дитя: «Погоди, дорасту
до тебя, небосвод. Не погибну в хвоще».

Разве можно забыть это чтение взахлёб
и надкусы веснушчатых яблок взахруст!
Так теши свои доски, работай на гроб,
гвоздодер из животного страха, Прокруст.

Да не канем однажды, как в омуте – страх,
да не схлопнется створка надежды в душе!
До свиданья, лесные заставы в кострах.
До свиданья, с любимой игра в шалаше!

Ежедневные тиски
навалившейся тоски.
Тряска в транспорте напрасна.
Безработица души,
сколько ту ни тормози,
с плотью полностью согласна.

Да и что такое плоть,
как не тяга побороть
тьму, навязчивую тему
страха смерти, что весьма
странно в жизни, где весна
ходит запросто сквозь стену.

Что тянуть кота за хвост,
что глазеть на сонмы звёзд, –
одинаково чревато.
Черви гложут чернозём.
Мы тихонечко ползём:
друг на друга, брат на брата.

Я посмотрел с тоскою на часы
и сам себе невольно улыбнулся:
пускай они идут, куда хотят
под летнее жужжание осы,
столь радостной, что голос к ней вернулся,
под тихое мурлыканье котят.

Я нынче к Музе обращаю лицо.
Пусть наша дружба крепнет год от года!
Мы будем переписываться, да?
Скрипучее фортуны колесо
мне надоело. Мне нужна свобода.
Мне всё равно, куда идут года.

Золотые дожди в махалле,
винограда последние грозди.
Лист инжира лежит на земле,
по земле ходят милые гости.
И прохладою веет во мгле.

Пусть и так, без затей, ты прекрасна,
туркестанская синева.
Соблюдая святыя права
тишины, ты с душою согласна.
Лишь порою подросток-айва
хором веток встревожит твой ясный
взгляд, и встанут на место слова.

Ива дремлет, волосы полоща в пруду,
и поют в два голоса соловьи в саду.

Месяц отражается в сумрачной воде,
емлет он улыбку в хитрой бороде,

хочет отражению передать привет,
двойнику в пруду желая долгих лет.

Смотрит озадаченно рыба на звезду;
звездой обозначена музыка в саду

водорослей спутанных, словно мысли вслух,
яблонь, в цвет укутанных, что в лебяжий пух.

И звучит, как жалоба, каждая строка:
время не бежало бы, но текла б река.

Размытый небосвод
цвета дешёвой кафельной плитки
напоминает обложку
новомодного журнала. На горизонте
(по крайней мере, на том месте,
где должен быть горизонт) –
деревянные постройки,
почти готовые к сносу,
с заколоченными на первом этаже
окнами; крючковатые ветки
засохшей берёзы.

Девушка, с которой я временами играю в шахматы,
уходит в одну из таких деревяшек и там исчезает.
Во дворе тарахтит мотоцикл и скалка лупит,
выбивая пыль из ковра.

Мимо серых хибар,
в сторону крупнопанельных пятиэтажек
идет человек с мешком за спиной: очевидно, тащит
металлолом к приёмному пункту.

Хорошо бы на всю эту дрянь взглянуть
с водонапорной башни.
Хотя бы на время чуть-чуть осознать
свою принадлежность к месту
прописки. Наполовину заглохшая лесопилка
дает объявление в районку, что нужен сторож.
А ты всё медлишь и ждёшь ответа
из тридевятого царства насчёт вещей,
отосланных в тридешатое государство.

Как будто какой-нибудь гражданин/гражданка
с нормально поставленной головой и двумя глазами
станут тратить наличку на твои вирши.

И только местная газета «Чунский вестник»
подкидывает иногда
тебе немного денег. А ты всё никак
не выучишься грамоте сельского журналиста,
без особого пафоса пишущего на предмет
удоев, напиров и вообще состоянья
дел в округе. Никак не выучишься на
шрайбикуса с блокнотом в левом кармане.

Как чудесно видеть свет
Божий; независимо, откуда:
из окна или сняв ушанку
и задрав башку в январское цвета
йогурта небо. Как
приятно сознавать себя
частицей Божьего промысла. Видимо, так легче
жить,
нежели существовать на задворках Отчизны,
притворяясь неизвестно кем.
Теперь о воде. Взгляните на воду в стакане; вам,
возможно, мнится, что вы поймали её,
но дело обстоит иначе:
она поймала вас,
и рука тянется к стакану, зане вы хотите утолить
жажду. Банальная, казалось бы, вещь.
Вода же пройдёт
сквозь вас и снова
вернётся в реку,
в которую вам дважды не войти.
Вот какие примерно мысли
посещают меня долгими зимними вечерами.

КАМИКАДЗЕ

Эхо скитается в горных ущельях,
и пчёлы лепят уютный улей.
Южный город похож на пчельник,
разбуженный снайперской пулей.

Сидит камикадзе в дупле на стрёме,
прикован к дереву камикадзе.
И нет никого в целом свете, кроме
смерти, с кем станет он кувыркаться.

Не вздумай из дому выйти босым
в столице полдня, в разгаре лета,
когда секретарша флиртует с боссом
и тлеет бикфордова сигарета.

Когда в бильярдной хлыщи с Тверского
бульвара катают шары лениво,
вспомни, что праздношатанье – школа
жизни, чей график на грани срыва.

По улице гуляет дворник,
шурша косматою метлой,
и день стоит, как беспризорник,
окутан утреннею мглой.

Как развлекательное чтиво,
горит осенняя листва.
Какая, к чёрту, перспектива:
работа, деньги да жратва.

Играть умеют только дети,
как только женщины – рожать,
а взрослые живут по смете,
держа друг друга на примете,
принуждены соображать

насчет того, что зло полезно
для постижения добра.
И чем безвылазнее бездна,
тем безотчётнее игра.

КЛЯТВА

Пока дышу, пока живу,
не перестану петь листву
дерев осенних; и в бреду
я снова к листьям перейду.

Когда их отряхает лес,
и голубеет даль небес,
я к листопаду обращусь,
со днями летними прощусь
без сожаления, зане
в моей страдающей стране,
как украшение земли
лежит, пока не замели,
неописуемо листва.
Таков порядок естества.
И только человек с метлой
в руках ей говорит «долой».

КОНЕЦ ЛЕТА В ПРЕДМЕСТЬЕ

Вот уже в подворотнях не слышно кошек
и серебрятся первые паутинки.
Время бежит, расталкивая прохожих.
Кончились соловьиные поединки.

Слева пустырь с объектами постмодерна,
справа кирпич, зигзаги пожарных лестниц.
В городе пахнет вещью невероятно,
пахнет передовицами старых сплетниц.

Словно посуда в поисках пьяной влаги,
тело пытается делать отсюда ноги.
Пурпурные лохмотья лежат в овраге.
Выпивка не валяется на дороге.

Наступая то на разрезанную жестянку,
то на коровью лепёшку, ругаясь матом,
я встретил однажды барышню, похожую на крестьянку.
Мы с ней ещё долго спорили на косматом

языке мудрецов о смысле существования.
Солнце пекло макушку, томило жаждой
долгого, как дорога, повествования.
Каждый из нас при своём остаётся, каждый

в меру своей отчаянности смеётся
в морду реальности, лезущей в объективы,
благодаря которым и создаётся
общее направление перспективы

оказаться в конце тупика, где ни зги не видно.
Может быть, это просто шутка, уловка чья-то,
кто выныривает из заводи, словно выдра
посмотреть, как пасутся на берегу козлята.

Лопотало бельё, сорваться грозя с верёвки,
но прищепки за ткань зубами держались крепко.
Тараторили две сороки насчёт обновки,
дабы лестничная была в курсе дела клетка.

Пока мальчики на гражданской войне мужали,
девочки стали женственными до жути.
Деньги исчезли, товары подорожали.
Обыкновенное дело. Спокойно жуйте

ваше первое, заеда я вторым и третьим.
В этом смысле я вам желаю пищеваренья.
Не придавайте значенья подробным бредням.
Если вы так считаете, не напрягайте зренья.

Когда вас уже не волнует, о чём и речь-то,
когда медленнее разлуки любая почта,
тем не менее в голове происходит нечто,
позволяющее найти, что согрета почва

для занятия земледелием, но в любое
время выбита может быть из-под ног, не так ли?
Ведь известно, что небо временно голубое
к лицам обоего пола, действующим в спектакле.

Запиши меня в книгу памяти. Запечатай
сургучом разгневанной тучи. Швырни подальше.
Всё равно ведь я не смогу завести с зубчатой
башни хвалебную речь: отвращенье к фальши.

Да и страх высоты, судя по слогу песен,
исполняемых от души под сердечный бубен.
Отведи своё наваждение, будь любезен,
если смысл подобной просьбы Тебе доступен.

Не в силах оценить очарованья
живой строки, связующей сердца,
я воспеваю негу любованья,
полёт души и торжество творца.

Благодарю таинственные силы,
поддерживающие небосклон
и кровью наполняющие жилы,
с тех пор как в жизнь без памяти влюблён!

Ну, как он там? Всё в порядке?
По-прежнему в скорлупе?
Не выдутился наш гадкий
утёнок. Это ЧП.
Стучит целый день. И что же,
продвинулся далеко?
Не знаю. Только похоже,
дышать ему нелегко.
Желанья, заботы, страсти –
как ногти в гробу растут.
Послушай, ты прав отчасти:
не стоило в институт.
А также в чужие квартиры,
письма, дела, дневники.
Не стоило в дезертиры,
ты б лучше в проводники,
бельишком китайским торгуя
да разною чепухой.
Читал ли ты Весть Благую?
Ты парень-то неплохой.

Пересыплют нафталином
и сдадут в архив:
так что трелям соловьиным
ты внимай, коль жив;

ибо скоро все мы сгинем
с ласковой земли,
растворимся в небе синем;
а что там, вдали

от пенат родных, не вемо
ни тебе, ни мне.
Зазывает в гости небо,
в гости к тишине.

ПО КРАСНОЯРСКУ

Щёлканье счётчика, нервное курево, ледник города. Бублики клумб у подножия бледных, истово рдеющих ангелов автопробега по Красноярску, затравленно ждущему снега.

Не по себе даже псам от ноябрьской пудры. Вряд ли согреются, точно последние шудры, греясь на люках клоаки, твои старожилы, город, где режут эмаль омертвелые жилы по новостройкам, утянуты между столбами. Глыбы домов основательно сдвинуты лбами. Голуби зябнут под волнами кровельной жести. Жаль тополей, что пилой ограничены в жесте. Возле продмага, на улице лысого черта пьяное быдло шатается разного сорта. Кто-то толкает в плечо, наступает на ногу. Холодно ли? Горячо? Да всего понемногу.

Гору Покровскую долго штурмует автобус. Чувство, как будто все время на выход готовлюсь, не отпускает в избушке, где смуглые ромы знают пароль; это проще пакета соломы. Ша, золотозубый оскал индустрии порока! Что говорит обо мне заводная сорока? Что за последние сплетни дравидского юга ты на хвосте принесла, дорогая подруга, мне, кто зашоркал не первую пару ботинок и с двойником во словесный вступил поединок?

Явь игнорирует то, что разыграно снами. Время следит из-за всякого места за нами, в глуби вскипая, как страшная месть океана береговой полосе, где растет икебана, сушатся сети на кольях и точатся лясы, пишутся гэсэры, кетцалькоатли, манасы.

Что там ещё? Проговаривайся, недотёпа.
Весь околоток дрожит: это пьёт дядя Стёпа.
Горе полковнику: был да и вышел в отставку.
Плётка порвалась, так дайте скорее заставку,
киномеханики гулкою летнего зала.
Что-то в гнезде музыкальном навзрыд отказало.
Хлопни же трижды в ладоши – забьётся, хромая,
как клавесин растревоженный, хроника мая.
Солнцелюбивая пыль эрмитажного склепа
пляшет в луче, словно крошки насущного хлеба.
Цокайте, лодочки пышной уездной гризетки
за поводком натянувшимся куцой левретки
по местечковому брусу в каштановой пене,
по тротуару подсохшему, по светотени!

Пахнет Дрогобычем мята, лаванда, корица.
Сладкой отравы хочу, как ходжа, накуриться.
Как зульфикаровский дервиш; как литературный
шмель, родословье ведущий от парковой урны.

Лето в предместье, под долгие скрипы трамвая,
тянется к осени, листья ветвям отрывая
так незаметно, что даже закон тяготенья
не объяснит, отчего под ногами цветенье.

Что говорить, если корочки гну райсобеса.
Часто приходится, клёкот услышав Ареса,
перемещаться туда, где хиппуют ашрамы,
недосягаемые для звонка, телеграммы
или брошюр ортодоксов, усердно ведущих
размежевание в куцах.

Осточертели прокрустовы дебри плацкарты
и примелькались железнодорожные кадры.
В лимбе вокзала, где нету свободного места,
в пьяной общаге, в сыром закоулке подъезда
поздно раскаиваться, нету смысла меняться.
Трудно любить, если не с кем любовью заняться.

Мне бы фонарщиком быть у старинного града,
замысловатого, как этажи винограда.

Рыжие сопки немного посыпаны белым
тальком, а день усыхает и крошится мелом
наземь, и клочья листвы превращаются в ужас.
Остекленели последние высевки лужиц.

Целыми днями тревожу пергамент осенний,
не соблюдаю суббот и не жду воскресений.

Ты в светляках и фиалках остался, стеклянный
идол, игрушка железная, дух конопляный!
Звякни во вторник, исполни желание третье.
По закоулкам аукается лихолетье.
Служба такая. Не знаю, кому. Только верю:
что-то случится сегодня. Подобное зверю,
по закоулкам аукается лихолетье
всеми бульварами, всей электрической сетью.
Зверю подобное, пьяному левиафану.
Не перестану шататься, не перестану,
калейдоскоп раскручу коридорами бреда:
школа, шары новогодние, драка, победа.
Пусть польхает очаг удивленного лада!
Как я люблю твои зёрна созвучий, Эллада, –
гибкая станом, речами богатая, песней
благоволящая путнику. Нету чудесней!

Да не разрушится город, устроенный крепко.
Город и мир, эта прочная римская лепка.
Счастье недолго спугнуть, ибо счастье – минута.
Времени лишь бы хватило на вечер уюта.
Пусть отойду, словно тень, если правда такая.
Всё же, спасибо за пение, пена морская.

По утрам, наблюдая восход светила,
я не ведаю точно, как это было,

то есть было и стало на самом деле,
чтобы шар вращался и птицы пели.

Да, пожалуй, земная твердь неподвижна,
ну а солнце погаснет скоропостижно.

Хорошо в телескоп на звёзды глазети
иль читать о курсе валют в газете.

Хорошо, когда мир и никто не мёртвый
от свинца или подруги чёрствой.

Стоит, кажется, только нажать на кнопку,
и судьба вам преподнесёт обновку.

Но мы как-то забыли, что вещь – в работе
и ей нету дела до нашей плоти.

Покрывало земли шелушится,
смысл преданья дождями размыт.
Улетает из города птица,
обивает пороги наймит.

Я возьму свои книги в дорогу,
буду слушаться сердце-левшу.
Покрывало земли понемногу
шелушится, пока я пишу.

ПОСТОРОННЕЕ ВРЕМЯ СУТОК

Были слухи, что постороннее время суток измяло стрелки
на курантах как ГОСТ иронии за козлиные перестрелки

тех, кто шаток да тех, кто валок; кто во всем справедливость ищет,
а пролётами старых балок хриплый ветер о чём-то свищет.

Ну, а в бычий пузырь пространства безнадёга клюкой стучится:
«Кто там, в омуте мессиянства, Новокитеж отгрохать тщится?»

Но глухие предместья водят оловянными хоботками
да фабричные черти бродят с деревянными молотками

по землистой омеге влажного мегаполиса пьяных улиц,
по бетонному склепу страшного заповедника потных куриц

и простукивают окрестности современного лабиринта,
словно демоны дачной местности, повинувась указу Флинта.

Бьют брезгливые практиканты по коре городского мозга
да косятся на прейскуранты департамента дяди Босха,

где, согласно закону зеркала, грановитая перспектива
тени грешников исковеркала. Чтоб ячейка подземактива

не скучала за дхармашастрами несмышлёных её последов,
воскрешается ветошь астрами конвертируемых обедов.

А бульварами пресмыкаются безобидные рукоеды
перед умствующими карлицами, начитавшимися Ригведы.

Пустырями все время ходят угловатые землемеры:
может быть, они там находят допотопное пламя веры

в исцеляющее веселье – без сплошных оговорок Юнга,
без тревожных уроков венского кабинетного нибелунга.

И подглядывают из окон осторожные горожане,
как окукливается кокон, – окончательные чужане.

Что не вышло на бумаге, то и в жизни не срослось.
Перейдя через овраги, на большак выходит лось.
Он рога вздымает к небу, с небесами говорит,
а потом уходит в рощу, что зарёю вся горит.
И всегда такое чувство, словно кто-то за спиной.
А оглянетесь – молчанье обступает вас стеной.
Как стройны подруги-сосны в этой облачной стране,
где нежны бывают вёсны, наяву или во сне.
Дятел ищет древоточца, пробегает бурундук.
Чудные дела творятся, чудные дела, мой друг.

ПОХОРОНЫ ЛЕТА

Как прежде, на бульваре лисья
позёмка заставляет листья,
как бы на цыпочки вставая,
шуршать о том, что мостовая,
скорей всего, затем бугриста,
что ей не меньше, чем лет триста.

Что в этом шорохе такого?
Всё в нем сумбурно, бестолково,
старо, наивно, примитивно –
как будто смотришь в объектив на
самодовольную погоду,
которая диктует моду
на зонт и плащ, на шарф из шерсти.

Как будто человек из персти
возник, но, позабыв об этом
печальном факте, стал поэтом
и вышел в осень, озираясь
вокруг, как будто вышел в рай из
своей обставленной убого
берлоги. Что ему берлога,
когда снаружи столько цвета:
в разгаре похороны лета.

Печальные смотрины вяза,
старинный факультет иняза,
собрание листвы гражданской.
Вот клён, как будто герб дворянский,
украсил особняк багрянцем,
и мы, подобно иностранцам,
идём по городу родному
и наконец подходим к дому
с крутыми лестницами. В окнах –
пожар листвы, мятеж на стогнах.

Вот помещенье, где глаголы
звучат отчётливы и голы.
Скоро и мой черёд настанет,
уста отверзнув, как бы в танец,
вступая в некий круг вниманья,
читать на грани пониманья.

ПРИЧАСТИЕ

Рождаются таинственные речи
при свете дня и в сумраке ночном,
но мне всего милее радость встречи,
пейзаж родной милее за окном.

Там водокачка старая маячит,
дом-призрак, что без окон, без дверей,
а день с утра так безнадежно начат,
что хочется: закончился б скорей.

Здесь за полдень то солнечно, то хмуро:
меняется погода на глазах;
и из Корана вдруг взлетает сура
и исчезает птицей в небесах.

А речь течет, как Бог ей заповедал:
не запретил, а лишь предостерёг,
чтобы поменьше увлекалась бредом,
родной не забывала уголок.

Я не забуду, Боже, не забуду
торжественные сосны, облака.
Я причащаюсь мироздания чуду,
и речь течёт, как древняя река.

Я самообучающийся раб.
Существовать – тяжёлая наука.
За царство цвета, запаха и звука
сознание цепляется, как краб.
Весь в латах, осязаемая плоть.
Тревожный панцирь алчущего взгляда.
Таким и сотворил его Господь,
Единственный, Кому весь мир – отрада.

И в творческой бессоннице Гомер
кораблики пускает к Илиону.
В лазури волны режет водомер,
чьи паруса похожи на корону.
Гребцы на вёсла налегли сильней
и суши показалось ожерелье,
и кормчий на носу – Диониса хмельней –
в солёных брызгах встретил новоселье.

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ

Интересно, кольшет
ли кого-нибудь то,
чем здесь изредка дышит
как бы призрак в пальто?

Кто сливается с далью,
на ходу замерев,
очарован деталью
горизонта, как лев?

Или это вопросник
безответный такой?
Как объезженный взрослик.
Как туман над рекой.

Под рукой только фразы,
как зародыши строф.
(Словно выпил заразы,
но остался здоров.)

Как навязчивый запах,
говорит тишина,
что смеркается запад
и что время для сна

подошло, наступило
человеку на грудь.
Не забудь то, что было.
Никого не забудь.

Тяготение к тайне
есть унылый бурлеск.
Окон исповедальни
лихорадочный блеск.

Кафка в пасмурной Праге,
наваждение ночей.
Одиноки бродяги,
только призрак ничей.

И вакханки белками
проводят толпу
горожан. Облаками
стали кудри на лбу

демиурга просторов,
господина пяти
добрых чувств, у которых
неполадки в пути.

Звездопады в осенней
вечереющей мгле.
Над землёй вознесенье,
возвращенье к земле.

На суглинок погоста,
к толковищу грачей.
Аще кто претръгоста
ради тёмных речей

свои светлые струны,
не дави на колокол,
обрекая перуны
низвергаться не в срок.

Я вечернюю школу
за название чту.
За вниманье к глаголу.
А ещё – за мечту

как свободу забыться
хоть за партой на миг
и с ответа не сбиться,
как с дороги в тупик,

с её множеством фабул
и развязок в пути.
Я к ней в ноги не падал,
а старался идти

напролом, через пустошь,
где лежат валуны.
Только строчку отпустишь –
ощущенье вины

настигает. И валит
дым из труб напрямик.
И сознание сигналист,
что живём только миг.

Оттого наши речи
неуместно быстры.
Оттого наши встречи,
разговоры, костры.
Доказательства нету.
Да и нет в нём нужды.
Как Господнему Лету.
Как кусту лебеды.

Что в предмете? Пустая
кромка неба. Разъезд.
Сновиденье, как стая,
слепо держится мест

обитания плоти.
Но когда-нибудь я,

разрывая в полёте
все силки небытия,

словно в детской истоме
потянусь до звезды,
чтобы радость о доме
шла в ночные сады

мироздания. В эти
хутора, где пасут
Близнецы. Что в предмете?
Человек как сосуд,

переполненный влагой
и так далее, да?
Тесно связан с бумагой.
Говорит иногда

сам с собою, что признак
неизвестно чего.
В общем, вещь из капризных.
Странное существо.

Симметричен, по слухам,
одному чудаку.
Собирается с духом.
Нагнетает тоску.

Строго делится на два,
к единице стремясь.
Человек – это нагло,
как внебрачная связь

на глазах у Цербера
между светом и тьмой.
Человек – это вера
в чудеса; путь домой.
Он бы малым был славным:

небо в дружбе с землёй.
Увеличилось «я» в нём,
шкура стала малой.

И попёрло навырост.
Говоря напрямик,
человек – это сырость
и чужой черновик.

Это всё? Наконец-то.
(Голос из-за кулис).
Где жених, там невеста:
вечный вызов на бис.

И выходит Отелло,
растопыря клешню,
после мокрого дела
на пустом авеню.

Люди в поисках счастья
что найдут наконец?
Жизнь – это соучастье,
поле боя сердец,

а не жертва прогресса
и другого дерьма.
Не теряй интереса.
Не бомжуй задарма.

Путевые записки
смысла не лишены.
Как огонь в тамариске.
Как набат тишины.
Триумф оксюморона,

праздник белиберды.
Живи долго, ворона.
Стойте намертво, льды.

Это личная просьба,
хоть она не скромна,
словно крик: «Рота, стройся!»
в адрес чурки, бревна.

Словно бред в объективной
обстановке беды.
Словно демонстративный
выход рыб из воды.

Не боюсь истощенья
русл рек, ремесла.
Но боюсь отпущенья
всех грехов за козла.

Продолжайся в таком же
духе, жизнь или смерть.
Как мурашки по коже
от желанья посметь.

Самокопание – порок.
Богопротивное занятие.
Как поиск смысла между строк.
Как выход на люди без платья.

Конечно, каждому – своё.
Не возражаю. Просто – мимо:
не я, не мне и не моё.
Дистанция необходима.

Жизнь есть по крайней мере то,
что думают о ней счастливы,
которых не стеснит пальто,
розовощеки, смуглолицы.

Обычай как второй закон.
Не каждому, как Гулливеру,
перешагнуть свой Рубикон.
Не стоит следовать примеру

с неистовою глухотой.
Надо свою расслышать душу.
Она кричит тебе: «Постой!»
и хочет вырваться наружу.

Сквозь глухое косноязычье
голос твой пробивался, рос,
чтобы в нём ликование птичье
появилось, отозвалось.

Клёст и щелканье птах залётных,
переключка среди листвы.
Что-то трогает в них, зовёт в них, –
многоустой сильней молвы.

И не дар ли сие Господень,
что тебе достается речь,
обращенная в знойный полдень,
и в тени продолжает течь.

Скоро конец урокам и всякому колдовству.
Время болтать сорокам, ветру – трепать листву.
Скоро конец урокам, и сельский учитель рад,
дланью стуча по штакетнику, что квадрат
диагонали, пересекающей школьный двор,
равен сумме квадратов его сторон,
образующих прямой угол, если поправить забор
и сосчитать всех когда-либо сидевших на нем ворон.

Сопки обложены тучами цвета слюды.
Осень уходит, зима замечает следы

и водворяется, саваном белым укрыв
дёрн, что щетинится, будто идёт на прорыв.

Дети играют в снежки, лепят снеговиков.
Сколько зима простоит ещё? Много веков.

Ибо тот край, где живу я, зимой побеждён.
Лето здесь кратко. Весна, с её вешним дождём,

тоже ненадолго. Осень лишь радует взор,
краской прощальной рисуя свой вечный узор.

«Не смотри в одну точку, сойдешь с ума», –
говорила мне мама. Была зима
и мелькал за окном лопухий снег,
и стоял на дворе двадцать первый век.
Он стоял, как коломенская верста,
заставляя покрепче смыкать уста.
И крещенская стужа гнала в дома
населенье посёлка. Была зима,
как и сказано выше, но выше нет
ничего о том, каким тусклым цвет
был у неба, как быстро смеркалось. Мне
всё казалось, что жил я в иной стране.

На материю время влияло так.
А в стране был, как выяснилось, бардак:
воровали наместники, пил народ.
Но весна уж маячила у ворот,
упраздняя всё то, что я выше рёк,
всё, за что волновался и что стерёт
от глумливого взора толпы зевак.
Оказалось, я зря волновался так.
Ибо в наших краях и весной мороз,
словно драющий палубу злой матрос,
лакирует лужи, творя гололёд,
и при этом алчно глядит вперёд.

Стать бы снова, как в детстве, крылатым,
и летать наяву и во сне
за Шагалом, слегка угловатым
в голубеющей крутизне.

Но подрезаны мои крылья:
я не ангел – который год.
На меня нападает бессилье
и царапает дверь мою кот, –

черный кот, он желает улечься
мне на ноги и сладко вздремнуть.
У меня же – в душе увечье,
а на сердце – далёкий путь.

Я брожу по квартире с грустью,
телевизора не смотрю,
да шатаюсь по захолюстью
и неведомо что творю.

Мне мерещится город чудный
и каналы его, и мосты.
Я не взрослый, а просто трудный
и с судьбой перешел на «ты».

Там, где запропастился веник,
не знавший, не считавший денег,
глумится ветер, словно варвар,
над тем, что надлежит беречь.
И ты туда же – на базар, вор,
белиберду вплетая в речь.
Печную дёргаешь заслонку,
неловок с цепкой кочергой.
Уйди с дороги, стань в сторонку,
послушай, как поёт другой.
Врывается в дома с нахрапу,
бьёт в бубен и кусает лапу.
Беснуется, с пургой в окно
швыряя слипшиеся листья.
Такое делает кино,
что в панике позёмка лисья.

Я чувствую, как поселенец
в отдельно выдранной стране.
Гуляет ворон по стерне,
больных останки заусениц
остервенело рвёт и мечет.

Я вижу сон о стороне
созвездий южных, где лепечет
о полноте блаженных лун,
о робости Лейли к Меджнун,
из камня выбегая, ключ.
Я знаю, камень там горюч
и брови женщин букве «нун»
подобны, каждая в разлёте.

Но вот отпыхал ревун,
уснула мошкара в болоте,
и лось ушёл на дальний выгул,
ища там ягель. Обернись,

и ты увидишь, как запрыгал
то вкривь, то вкось, то вверх, то вниз –
лягушкою, сердечком-двойней –
ушастый заяц по снежку:
следы, подобные смешку.
Как хорошо корове дойной,
когда хозяйкина рука
ласкает розовое вымя,
прося парного молока.
Как хорошо, что мы живыми
быть удостоены. Теперь
я понимаю правду жизни:
течёт она, река потерь,
петляя средь холмов Отчизны.
Я получил из первых рук
весть, утолительницу жажды.
Течёт она, река разлук,
и нас соединит однажды.

Уже которую весну
я вижу ветхие лачуги
сквозь запотелое стекло.
И клонит медленно ко сну,
и тает снег по всей округе.
На воле тихо и светло.

Гуляет ворон по стерне,
внимательно глядя под ноги.
Война гуляет по стране,
людей верстая для подмоги.

Бежать отсюда. Но куда?
Везде такая же беда,
в любой стране, в любой разлуке.
Над кровлею слезятся чуть
кривые звёзды. Долог путь.
И маются без дела руки.

Хвалебный шум листвы зачитан ветром,
и наступает осень понемногу.
Пространство, километр за километром,
меняет очертанья, слава Богу.

Пастух в отъезде поле щёлкнет плетью,
ложится на крыло большая птица.
Ты к третьему готов тысячелетью,
поэтому тебе никак не спится.

Пойми, людская память – это форма
бессмертия в страдательном залоге.
Реальность отрицает нас упорно,
мы состоим с абсурдом в диалоге,

возникнув на развалинах державы,
с душой, как говорится, нараспашку.
Луна из моды вышла, звёзды ржавы;
и только солнце греет нам рубашку.

Я верю только в чудеса,
которыми полны леса
родного края.
Друзья, не спрашивайте, чьи
это среди камней ручьи
бегут, играя.

Давно меня влечет одна
замысловатая страна.
Стволы и ветви
загадочны. Лес, объясни,
как же запутались они
в попутном ветре?

Холодильник делает паузу. Всё. Шабаш.
Тишина надвигается, словно войско
неприятеля. За окном, в темноте – мираж:
отражаются стол, бумага, свеча из воска.

Отражается жизнь, что прошла, словно страшный сон:
понедельник, вторник, среда и четверг-зануда
с его дождиком, пословице в унисон.
А на кухне льётся вода и гремит посуда.

Поутру мама с тётушкой собираются по грибы.
Я пошёл бы, да тоска не пускает дальше
порога; я сдвинул бы
себя с места, но как же быть с элементом фальши

в этом порочном круге житейския суеты.
Воспарить в эмпиреи, вернуться на землю снова?
Но от этой тоски есть одно избавление – ты.
Только ты. И я рад, что вымолвил это слово.

Луч света изначального, свет Отчего Лица –
как обод обручального внезапного кольца –
коснётся век усталых, и затеплится душа
среди сарданапалов, говорящих миру «ша».

Мне во поле мерещатся морщины мостовых,
на перепутье плещется тоска городских:
барахтается, намертво сучится трепетва, –
на стогнах косяками плотоядная плотва.

Супруга сердобольная задворками скворчит,
а кошка малохольная в окошечко журчит.

Ракеты средней дальности растут не по часам,
когда в исповедальности вольготно голосам.
А разные конструкторы, конструктивизму дань
отдав, пошли в кондукторы, в мамаш или папань,
и, как апологеты неформального знакомства,
плюются в репродукторы. Куда в такую рань?
Туда, где нерестится вся лжебратия трущоб,
где рыба-мясо-птица в интерьере хворощоб.

Сознание пульсирует Алголью: надо быть.
Толпа мультиплицирует, чего бы раздобыть.

У дуба руки скрючены, все листья сорванцы.
Начала заюлены, забрючены концы.
Низвергнут основатель, господин Архипелага.
По ком скрипят уключины? С ума сошли гребцы!

Беда! По Достоевскому – переполох в углах,
слепни ползут по Невскому проспекту в «жигулях».
Около Мойки шастают упругие качки,
деньгу себе грабастают. А резвые сачки
кефиром увлекаются, кося под молодых.
Они прилежно каются, а бьют всегда поддых.

И первыми, как правило. Такие мизгири,
которых обезглавило, что там ни говори.
Их как бы скособочила босяцкая ходьба.
Чиновник – у рабочего, директор – у раба
перенимают опыт, убеждённые до гроба,
помимо всего прочего, что такова судьба.

Ах, эта злая мистика, ругливый говорок,
гнедая журналистика – ни шагу за порог.

Я тоже приключения не в клеточку хочу,
о тайне всепрощения поистине молчу,
как соглядатай ужаса невольничьих охот.
Я местности наслушался, забрался в дымоход,
а там одни раскольники, смурное вороньё
и семистопны дольники, и прочее враньё.

И всё-таки, любезные, давайте дружно жить.
Хоть и мелкопоместные, умеете дорожить
тропическими гроздьями китайских фонарей,
блестящими полозьями скрипучих кораблей,
лепными заповедниками всех особняков,
друзьями, собеседниками (к черту дураков!),
финифтью новогодней над вывеской шинка
и мезузой Господней, давая косяка.

Благословенно сущее во сне и наяву!
Вы, сраму не имущие, простите, что живу
почти неосязуемо, не практикуя жизни;
и вы, вперед орущие, стоящие во рву,
что типа-не-работаю-понятно-же-ежу,
что не по фене ботаю, а сам себе скольжу
по руслу говорливому, по городу гирлянд.
Такая речь игривая доносится с шаланд,
торгующих на пристани волшебною порой
огнями серебристыми, восточной мишурой,
что первого же встречного, ликуя, посвятишь
во все дела сердечные, покуда крепко спишь.

Хоронясь от людей –
даже тех, с кем мы общей бедою повенчаны, –
я живу, как халдей,
без сестры, без подруги, без женщины.

И от бывших щедрот
лета, что промелькнуло, как стриж в окне,
мне достался лишь рот,
говорящий ненужное, лишнее.

И поэтому я
отрекаюсь от всякого времени
в пользу небытия,
чуя вечности шуйцу на темени.

Храни, печаль, меня, храни.
Храни, тоска, считая дни

и ночи, заспанные сплошь, не
то найдёт большая ложь

на сердце бедное моё,
восторжествует воронья.

Не воронья пугаюсь я,
а непрочтения, забытья.

Читатель мой, возьми глагол,
как саблю некогда монгол,

чтобы взревела вся орда,
страх наводя на города.

Ещё немного, друг мой, брат,
и похороним всех солдат,

погибших на большой войне.
Зайди, пожалуйста, ко мне;

мы выпьем водки за помин
тех, кто погиб, нас защитив.

И я останусь вновь один –
как некий местный лейтмотив.

.

«Что делать?» – отнюдь не дурацкий вопрос.
В нём привкус от выкуренных папирос.
В нём столько вопросов встают на дыбы,
что не избежать разночинской судьбы.
Попробуем всё же его разрешить.
Что делать? Что делать? Естественно, жить.

ЭЛЕГИЯ

Мы самозванцы на этой земле,
ибо погрязли во зле.

Вот и сутулый фонарь на заре
гаснет, как лист в ноябре.

Мы же уходим навеки туда,
Леты где стынет вода.

Там асфодели цветут меж холмов,
в царстве теней и углов.

Из-за угла выбегает углан,
как будто член Ку-Клукс-Клан.

Шёпот теней, шелест шагов,
мыслей обмен вместо слов.

Там окажусь и я в свой черёд.
Но, может, это пройдёт

так, как проходят простуда и грипп.
В общем, я, кажется, влип

в тему, которой не видно конца.
Боже, прости подлеца

за надоедливость и за грехи,
ниспосылая стихи.

ПОВСЮДУ ВЕЩЬ

Я замкнут угловатостью полей
убогого периметра свободы.
Растут из глины перья тополей,
шумят о чём-то буйные народы.
Повсюду вещь и собственная жуть.
Она то нарывает, точно чирей,
то прячется, как джинн в бутылку, чуть
коснёшься только маятника с гирей,
мгновение желая задержать
и расспросить о вечности подробней.
Объятия бессонницы разжать
и посмотреть в упор на мир загробный.

Я зарастаю памятью, словно заброшенный дом.
Хозяева поразъехались. Подо льдом
ходит форель. Общественные сады
суть иероглифы грусти, тоски, беды.

А ведь ещё недавно дворники в картузах
заметали следы листопада; бульвар был в тузах
масти прощальной и дождь барабанил в окно.
Осень окончена. Можно пойти в кино,
где в главной роли, как водится, рок-звезда.
Можно. Однако не хочется. Как всегда.

Велика власть музыки надо мной,
потому что слышу в ней неземной

звук, которому тесно в груди моей.
И даёт уроки мне соловей, –

тот, что к розе привязан наверняка, трель
свою начинает издавека,

дабы выразить розе всю свою страсть,
а к зиме ближе – дёрнуть на Юг, пропасть

среди зноя, но песню не позабыть,
ибо жить – это значит всегда любить,

несмотря на превратности бытия,
слышать музыку, не допускать нытья.

Что мне молвить ещё вам на посошок?
Что в молчанку игра вызывает шок?

Прошвырнись по бульвару осенним днём:
под ногами – листва, как игра с огнём.

Под ногами – листва, а над головой –
грозовые тучи, как твой конвой.

И звучит в эфире прощальный звук
косяка журавлей, что взял курс на Юг.

В своей холостяцкой берлоге,
где музыка и вино,
где плавают осьминоги,
забыв про морское дно,

я очень хочу сказать вам,
читатели и друзья,
что нам, как сёстрам и братьям,
загадочна суть бытия.

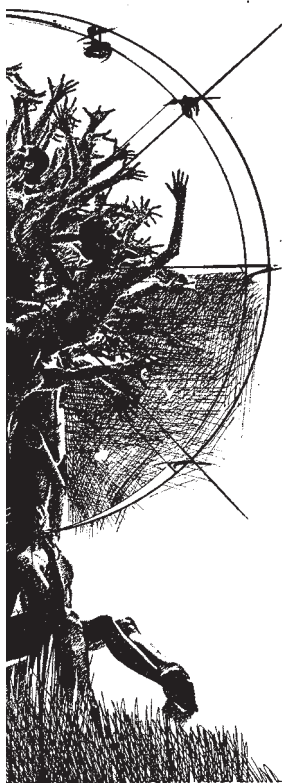
Что хочется поневоле
накинуть пальто и пойти
в то место, где нету боли
от пройденного пути.

СОДЕРЖАНИЕ

«Равновесие комнат, похожих на сон дурной...»	5
Сторож	6
«На потолке паук неподвижен...»	8
Автопилот	9
«Так сказать, обалдел от власти...»	12
«Вокруг зеркала рос трилистник...»	13
Гражданский дневник	14
«В сумраке будущего, когда...»	19
«В городе, в лабиринте слепых страстей...»	20
«Наступила зима, снова к земле прибиты...»	22
«Как собака, взявшая след...»	23
«Наплывают воспоминания...»	24
«Человек, если он живой...»	25
«Через какую-то пару часов...»	26
«Колючки – собственность ежа...»	27
Женские руки	29
Запах незабудок	31
«В голове моей гуляет ветер...»	32
В поле зренья зимы	33
«Глубокое небо Азии – не насмотреться...»	36
«Табор цыганской листвы по двору кочевал...»	37
«Мой профессиональный долг...»	38
«Время неумолимо...»	39
«Перемычки коридоров...»	41
«Музыка накатывает на меня...»	42
«Когда страна живёт впритык...»	43
«Осуетились и забыли...»	44
«... и книга валится из рук...»	45
«Запуск бумажного змея на пустыре...»	46
«Каракатица – землеройка, точно зверь с перебитой лапой...»	47
«Какие краткие свиданья...»	48
«У святочных баек изнанка пурги...»	49
«Вместо божницы – хмурое стекло...»	50
«День и ночь я надежду храню...»	52
«Мерцают огни большого...»	53
«Люблю гусиное перо...»	54

На чёртовом колесе	55
«Поступки – те же слова ... »	58
«Действительный тайный советник ... »	59
«Я снимаю цветные широкоформатные сны ... »	60
«О, жизнь моя, приправленная бредом!..»	62
«Когда жизнь, как свобода затворника ... »	63
Без пяти	64
«Я брёл в толпе, не разбирая ... »	65
Бездна	66
«Все мы немного с приветом ... »	67
Голос из захолустья	69
«Давай улыбнемся тому... »	70
Двое	71
День Ивана Купалы	72
«Я с ума до тех пор не сойду... »	74
Диалог	75
«Дополняю объем матерьяла ... »	76
«Дорогая проводница ... »	77
Евгению Рейну	78
«Ежедневные тиски ... »	80
«Я посмотрел с тоскою на часы ... »	81
«Золотые дожди в махалле ... »	82
«Ива дремлет, волосы полоща в пруду... »	83
«Размытый небосвод ... »	84
«Как чудесно видеть свет ... »	86
Камикадзе	87
«По улице гуляет дворник ... »	88
Клятва	89
Конец лета в предместье	90
«Не в силах оценить очарованье ... »	92
«Ну, как он там? Все в порядке?»	93
«Пересыпают нафталином ... »	94
По Красноярску	95
«По утрам, наблюдая восход светила ... »	98
«Покрывало земли шелушится... »	99
Постороннее время суток	100
«Что не вышло на бумаге, то и в жизни не срослось ... »	102
Похороны лета	103

Причастие	105
«Я самообучающийся раб...»	106
Путевые записки	107
«Самокопание – порок...»	113
«Сквозь глухое косноязычье...»	114
«Скоро конец урокам и всякому колдовству...»	115
«Сопки обложены тучами цвета слюды...»	116
«Не смотри в одну точку, сойдёшь с ума...»	117
«Стать бы снова, как в детстве, крылатым...»	118
«Там, где запропастился веник...»	119
«Уже которую весну...»	121
«Хвалебный шум листвы зачитан ветром...»	122
«Я верю только в чудеса...»	123
«Холодильник делает паузу...»	124
«Луч света изначального...»	125
«Хоронясь от людей...»	127
«Храни, печаль, меня, храни...»	128
«Что делать? – отнюдь не дурацкий вопрос...»	129
Элегия	130
Повсюду вещь	131
«Я зарастаю памятью...»	132
«Велика власть музыки надо мной...»	133
«В своей холостяцкой берлоге...»	134



Вячеслав Тюрин «На чёртовом колесе»
Составитель: С. Михеева
Корректор: А. Морс
Художник: К. Налётов

Иркутское региональное представительство
Союза российских писателей

Формат издания 60x90\16. Тираж 300 экз.
Отпечатано в типографии «Репроцентр А1»,
Иркутск, ул. Александра Невского, 99/2,
тел.: 8 (3952)540-940
www.printrepro.ru



Вячеслав Тюрин

Родился 23 марта 1967 года. Живет и работает в поселке Лесогорск Чунского района Иркутской области. Стихи пишет с 1992 г. В 1998 г. занял первое место в номинации «Поэзия» на областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». В 2001-ом получил Гран-при конкурса «ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ». Дипломант международного конкурса для инвалидов «ФИЛАНТРОП». Автор двух поэтических книг: «Всегда поблизости» (2001 г.) и «Розы в стране гипербол» (2006 г.). Печатался в журналах «Знамя», «Сибирские огни», «День и Ночь», «Сибирь», в различных газетах и альманахах. Член Союза российских писателей.